

А.П. Лисунов,
доцент Литературного института,
кандидат филологических наук

Образ Пушкина в творчестве Герцена

Широко известно крылатое выражение Герцена, будто народ «в ответ на царский приказ (Петра I — А.Л.) образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина»¹. Оно привлекает ясностью формулы и яркой афористической красотой. И в наши дни Ю.М. Лотман не без пафоса прибежал к подобной логике: «если нынешние критики Петра порой утверждают, что судьба России сложилась бы более счастливо без этой государственности, то вряд ли найдется человек, который хотел бы представить себе русскую историю без Пушкина и Достоевского, Толстого и Тютчева»². Тем самым исследователь давал понять, что вопрос о духовном родстве реформатора и поэта решен окончательно.

Тех же позиций придерживался и Н.Я. Эйдельман. В статье «О Герцене» он утверждал, что «В русской литературе, кажется, нет двух других столь похожих людей, как Пушкин и Герцен, если иметь в виду сходство внутреннее»³. В чем конкретно, в каких формах это сходство выражалось — ни он, ни Лотман не уточняли?! Более того, Эйдельман готов был даже опровергнуть себя самого: «Герцен: надо ли повторять (ох, надо, чтоб без кривотолков), что у него другая программа, другие, непушкинские взгляды».

Но каковы эти взгляды, каким образом они отразились на исторической судьбе России — эти вопросы опять же остались без ответа? Между тем известно, что многие десятилетия, особенно в советский период, русская общественная мысль развивалась в направлении, указанном Герценым. Достаточно сказать, что один из самых авторитет-

ных учебников по Истории русской литературы под редакцией Д.Д.Благого (1963 г.) в методологической части решительно опирается на высказывания классика.

Здесь говорится, что Герцен «в своем замечательном трактате «О развитии революционных идей в России» неслучайно уделял столь много места именно русской художественной литературе, пронизательно указываются причины этого: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести»⁴. Размышления о поэте и его культурном окружении сопровождается цитатой: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина, — писал об этом времени Герцен, — раздавалась в долинах рабства и мучений»⁵. Изучение главного пушкинского произведения опять же не обходится без мысли классика: «Широчайшее обобщающее значение... образа Онегина особенно остро ощутил Герцен. Он же точно определил и те национально-русские социально-исторические условия, которые снова и снова вызывали появление «лишних людей»⁶.

Практика использования герценовских работ в качестве методической литературы сохраняется и в последнем предперестроичном академическом учебнике под ред. Е.Н. Купреяновой (1981 г.). Развитие главного метода научного мировоззрения здесь целиком проиллюстрировано цитатами из Герцена: «В свете социалистических идей философия Гегеля, его диалектика была осмыслена Герценом и Белинским как «алгебра революции»⁷. Утверждается, что «Слияние диалектического метода Гегеля с революционно осмысленными идеями утопического социализма Герцен и назвал «реализмом»⁸. Авторы учебника привлекают его яркая фраза: «социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки»⁹. Подчеркивается, что «Формулировка эта крайне важна, так как она помогает понять органическую взаимосвязь реалистических принципов «натуральной школы», ее демократического пафоса и социалистической «сознательности»¹⁰. Изменения в российской культуре все так же рассматриваются сквозь призму «общей перспективы развития русской литературы первой четверти XIX в., увенчанной «колоссальным», по определению Герцена, явлением Пушкина»¹¹.

В 1916 году Б.Энгельгардт в работе «Историзм Пушкина», обозревая всю предшествующую литературу о поэте, замечал, что «исторические взгляды Пушкина изучались по преимуществу с социально-политической точки зрения», и ставил точный диагноз — «все сводилось к оценке прогрессивного и реакционного элемента в исторических воззрениях поэта»¹².

Чуть позже Б.В. Томашевский, начиная свою исследовательскую деятельность, констатировал: «Пушкин нейтрализован»¹³. Причину этого исследователь находил в искусственном делении литературы «на ветхозаветную до Пушкина и новозаветную после Пушкина»¹⁴. Исправление ситуации Томашевский видел в том, что «Вдвигая Пушкина в лите-

ратурный ряд его современности мы тем самым должны отказаться от старых (может быть, пропедевтически¹⁵ удобных и теперь) приемов изучения его творчества»¹⁶.

В главе «Интерпретация Пушкина» исследователь обращал внимание на то, что «Неуловимость мысли Пушкина являлась досадным фактом для позднейшего усвоения его поколением, для которых в литературе все заключается в «мысли»»¹⁷. По мнению Томашевского: «Поэзия Пушкина являлась своего рода ребусом, который надо было разгадать, объектом для «углубления»»¹⁸. Это приводило к тому, что «лица, углублявшие Пушкина, всегда к величайшему своему удовольствию находили у Пушкина совершенное соответствие с собственным мировоззрением. В большинстве работ этого типа мы находим типичные самопризнания авторов в цитатах из Пушкина»¹⁹.

Вывод Томашевского был неутешительный: «Подобную же систему интерпретирования, путем подбора произвольных аргументов и догадок, имеющих источником единственно остроумие автора, а ни в коем случае не методологически защищенное от случайностей изучение, — мы встречаем в прошлом в изложении социально-политических взглядов Пушкина. Каждый автор присваивал своей партии Пушкина, подкрепляя это на удачу выхваченными цитатами и строя из этих цитат свою собственную систему»²⁰.

Все вышесказанное применимо и к творчеству Герцена. Гениальный дилетант, наделенный богатым воображением и остроумием, он смог убедить многие поколения россиян, что его понимание Пушкина верно. Трудно найти работу, в которой взгляды Герцена на пушкинское наследие рассматривались бы критически. В отечественной пушкинистике за последние десятилетия эта тема прозвучала лишь однажды в статье Еремеева А.Э. «А.С. Пушкин и А.И. Герцен: К вопросу о художественных функциях философского обобщения в форме исторического анекдота в прозе 1830-х гг.»²¹.

Между тем, в ответе на вопрос — как же сам Герцен отозвался на явление Пушкина, что прежде всего интересовало его в творчестве великого поэта — скрывается и более важное указание на родовые черты нашего современного литературоведения?

Для начала обратимся к прозе Герцена, в которой он впервые открыл читателю свой внутренний мир, полный юношеских переживаний. Из «Записок одного молодого человека», изданных в начале сороковых годов, мы узнаем о прирастании классика:

«Что за восторг, что за восхищение, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память...» (1,59)²².

В романе «Кто виноват?» (1841–46) следы этого увлечения становятся явными. Герцен цитирует «Онегина»: «Таков ли был я, расцветая» (с.275), использует пушкинские строки: «брусничный сок Лариных» (с.112), «..любил, как Вертер, как Владимир Ленский» (1,159).

В «Сороке — воровке» (1848 г.) он приводит цитату из 4 главы

«Онегина»: «Последний бедный лепт, бывало...» (1, 335). Тут же появляется и строка из стихотворения «К вельможе»: «Пружины смелые гражданственности новой» (1, 328).

Одновременно с работой над художественными произведениями Герцен пишет дневник 1842-1845 гг. Здесь он впервые еще не достаточно четко, на эмоциональном уровне, обозначает свое сокровенное понимание Пушкина:

«Пушкин в «Онегине» представил отрадное, человеческое явление в Владимире Ленском — да и расстрелял его, и за дело: что ему оставалось еще, как не умереть, чтоб остаться благородным, прекрасным явлением?» (9, 27-28).

Очевидно, что Герцен оставляет без внимания размышления Пушкина о дальнейшей судьбе Ленского, представлявшейся ему далеко не однозначной.

Классик охотно призывает в свидетели поэта: «Конечно, по слову Пушкина: «Стократ блажен, кто предан вере», цитирует «Полководца». Складывается впечатление, что он хорошо знает творчество поэта, ясно представляет его место в русской культуре. Но тут же обнаруживается и другое тревожное явление — вольное обращение Герцена с пушкинским текстом. В данном случае речь идет о неточном цитировании стихотворения «Орлову».

Безусловно, центральным произведением Герцена, охватившим большую часть его творческой жизни, были «Былое и думы». Именно, из начала этой, по истине, эпической исповеди можно узнать, что учитель Герцена, полный «благородного и неопределенного либерализма», стал носить ему «мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева; я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!)». (1,79)²³

Начиная свою просветительскую борьбу, Герцен умолял соотечественников из заграницы: «Мы в третий раз обращаемся с просьбой ко всем грамотным в России доставлять нам списки Пушкина, Лермонтова и др., ходящие по рукам, известные всем («Ода на Свободу», «Кинжал», «Деревня», пропуски из «Онегина», из «Демона», «Гавриелиада»» (7, 45). Круг герценовского интереса к Пушкину явно ограничивался поиском антигосударственных мотивов в творчестве поэта.

Между тем, как явствует из текста «Былого и дум», главным жизненным авторитетом для Герцена и его соратников был отнюдь не Пушкин, а человек иноязычной культуры — Шиллер:

«Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей» (1,98).

Конечно, Герцен, разворачивая полотно «былого» и вспоминая о «старом скептике и эпикурейце Юсупове», не забывает о поэте: «В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание». (1,102). Но Пушкин нужен Герцену всего лишь для воссоздания культурной атмосферы, а не для глубоких размышлений, ко-

торые может вызвать пушкинский текст. Говоря об Уварове, классик пишет: «Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу» (I, 140). Так же вольно Герцен пересказывает поэта, когда речь заходит о французском императоре: «Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы... Но не пошла Москва моя, — как говорит Пушкин, — а зажгла самое себя» (I, 147).

Упомянув о «жертвах» царизма, Герцен довольно игриво ссылается на строки из «Египетских ночей» Пушкина: «У царицы их было много!» (I, 249). И об исторических событиях говорит вскользь, не пытаясь вникнуть в суть общественных явлений: «патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине» (II, 127).

Разбирая «Письма» Чаадаева, Герцен, естественно вспоминает и о поэте:

«Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву, между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья...

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон и Пушкин пишет:

...Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина ...» (II, 137).

Печально тут не то, что «звезда» из пушкинской строки превращена в герценовскую «зарю», хотя в самой подмене, в оппозиции образов «звезда» и «заря» заключено корневое, мировоззренческое несовпадение эстетики Пушкина и Герцена. Дело в том, что и второе стихотворение было написано поэтом до восшествия Николая на престол, вероятно, как отклик на «Путешествие по Тавриде» И.М. Муравьева-Апостола в 1823 году. Напечатано оно было в «Северной пчеле» 27 января 1825 года, т.е. почти за год до декабристского восстания. Повторно публикуя это стихотворение в «Северных цветах» на 1826 год в составе «Отрывка из письма к Д.», Пушкин, специально, чтобы избежать опасного сближения, датировал его 1820 годом, тем самым, давая понять горячим головам, что его муза обладает самостоятельным характером.

Но Герцен не обратил на это внимание. Он уже заключил себя и Пушкина в символический ряд, состоящий сплошь из свободомыслящих людей:

«Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А.С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М.Ф. Орлов и А.П. Ермолов встречали дружеский привет» (II, 144)

Пушкин представлялся Герцену вводной частью его политической

программы: «завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти» (II, 195).

И первое лицо в этой программе — герой пушкинского романа. По мысли Герцена: «Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд». О Бакуanine он пишет, что «Часто он еще, как Онегин, спал или ворочался на постели» (III, 344).

Завершая «Былое и думы», Герцен оглядывается назад: «Недавно я это испытал еще раз, читая письма Карамзина в «Атенее» и Пушкина в «Библиографических записках». Дни целые они были у меня перед глазами, и не только они, но тогдашнее, время, вся их обстановка» (III, 486).

Но вот что любопытно: в огромном исповедальном романе классика так и не нашлось места ни анализу художественного мира Пушкина, ни глубоким размышлениям о его творческой судьбе. Никто не станет отрицать, что творчество Герцена — своеобразная хроника культурной жизни России 30-60 годов 19 века, ее болевых точек. В ней можно найти свидетельства из жизни многих известных и второстепенных героев этой эпохи. Герцен оплакивает их кончины и судьбы. Но попытайтесь найти в этом громадном своде отклик на смерть Пушкина, упоминание о горе, пережитом Россией! И вы найдете всего лишь несколько дежурных строк, сказанных исключительно по случаю в качестве более или менее удачной иллюстрации.

Однако, когда пришло время обозначить политические цели, Герцен решительно обращается к творчеству Пушкина. В работе «О развитии революционных идей в России», опубликованной в 1851 г. на немецком и французском языках, Герцен, представляя поэта иностранной публике, не стесняется приятной для всякого русского гиперболизации, утверждая, что «образованная часть русской нации обрела в нем впервые дар поэтического слова» (3,444), хотя, если вспомнить слова Томашевского, это и была пропаганда «обычного мессианизма Пушкина», направившая изучение творчества поэта по ложному пути.

Хочется согласиться и с другим утверждением классика, что «Пушкин как нельзя более национален и в то же время понятен иностранцам» (3,444). Последнее замечание естественно, никогда и никем не было подтверждено, но до сих пор питает робкую надежду, что когда-нибудь это станет возможным.

Задав столь высокий тон своим политическим и эстетическим оценкам, Герцен и в дальнейшем продолжает балансировать на грани оригинальных определений и поэтической небрежности:

«Подобно всем великим поэтам (Пушкин — А.Л.) всегда на уровне своего читателя; он становится величавым, мрачным, грозным, трагичным, стих его шумит, как море, как лес, раскачиваемый бурей, и в то же время он ясен, прозрачен, сверкает, полон жаждой наслаждения и душевных волнений. Муза его — не бледное создание с расстроенными нервами, закутанное в саван, а пылкая женщина, сияющая здоровьем, слишком богатая подлинными чувствами, чтобы искать под-

дельных, и достаточно несчастная, чтобы иметь нужду в выдуманных несчастьях» (3,444).

Перед лицом западного читателя Герцен отстаивает самобытность Пушкина: «В Пушкине видели подражателя Байрону. Английский поэт действительно оказал большое влияние на русского». Но «После первых своих поэм, в которых очень сильно ощущается влияние Байрона, Пушкин с каждым новым произведением становится все более оригинальным» (3,445).

Оригинальность эта, по мнению классика, выражалась в интересе поэта к историческому прошлому России:

«Пушкин ... погружается в изучение русской истории, собирает материалы для исследования о Пугачеве, создает историческую драму «Борис Годунов», — он обладает инстинктивной верой в будущность России» (3,445).

Казалось бы, подняв Пушкина на недосыгаемую высоту и признав положительный опыт его творческой эволюции, Герцен должен был принять и те изменения, которые происходили с поэтом в последние годы жизни. Но не тут то было! С той же силой, с какой Герцен поднимал Пушкина, с тем же энтузиазмом он стал опускать его, как бы сменяя декорацию исторической сцены. Поэт, по мнению классика, «увлекался петербургским патриотизмом, который похвалится количеством штыков и опирается на пушки. Эта спесь, конечно, столь же мало извинительна, как и доведенный до крайности аристократизм лорда Байрона, однако причина ее ясна. Грустно сознаться, но патриотизм Пушкина был узким ... Пушкин не был ни царедворцем, ни сторонником правительства, но грубая сила государства льстила его патриотическому инстинкту» (3,445-446).

Чтобы придать своим рассуждениям большей убедительности и достоверности, Герцен откровенно фантазировал. Поэт никогда не исповедовал «петербургский патриотизм» — всеми силами рвался из столицы — и, наоборот, был царедворцем и сторонником правительства. Но как это сочеталось в поэте, Герцен не стал разбираться. Из всех произведений Пушкина классик безоговорочно признавал лишь одного «Евгения Онегина», да и то те главы, которые были тесно связаны, как раз с «байроническим», наименее самостоятельным периодом в творчестве поэта.

«Онегин» — самое значительное творение Пушкина, поглотившее половину его жизни — заявляет Герцен — Онегин — это ни Гамлет, ни Фауст, ни Манфред (Байрон), ни Оберман (Сеннанкур), ни Тренмор (Жорж Санд), ни Карл Мур (Шиллер)» (3, 446).

Из всего романа Герцена интересуют только два человека — Онегин и Ленский. Первого из них он рассматривает вполне традиционно.

«Онегин — по мнению Герцена — русский, он возможен лишь в России; там он необходим, и там его встречаешь на каждом шагу. ...это лишний человек в той среде, где он находится, не обладая нужной силой характера, чтобы вырваться из нее ... Образ Онегина на-

столько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом» (3,446).

Герцен легко вписывает его в ряд других литературных героев:

«Чацкий, герой знаменитой комедии Грибоедова, — это Онегин-резонер, старший его брат... Герой нашего времени Лермонтова — его младший брат. Молодой путешественник в «Тарантасе» гр. Соллогуба — ограниченный и дурно воспитанный Онегин» (3,446-447).

И совсем неожиданно представляет Герцен другого героя пушкинского романа. По его мнению «Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского, другую жертву русской жизни *vice versa* (другую сторону — А.Л.) Онегина. ... Это одна из тех целомудренных, чистых натур, которые не могут акклиматизироваться в развращенной и безумной среде».

Продолжая развивать эту мысль, Герцен высказывается довольно экзальтированно: «Ленский — последний крик совести Онегина...

Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина — Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить». (3,447).

Герцен возвращается к сокровенным дневниковым переживаниям начала сороковых годов, но формулирует свои идеи более определенно. Он интерпретирует творчество Пушкина, используя его как материал для собственных умозрительных построений. Для Герцена, Онегин и Ленский — один человек. Это новый герой, живущий двойной внешней и внутренней жизнью. Ленский — визуализированная рефлексия, греза наяву. Герцен раскалывает поэтический мир Пушкина и с удивлением обнаруживает, что это дает колоссальное высвобождение эмоциональной энергии, подобно тому, как расщепление ядра ведет к возникновению ядерной реакции.

Фраза о том, что «Пушкин дебютировал великолепными революционными стихами» (3,447) не только не точна, она просто противоречит пушкинскому отношению к революционной стихии, но способна вызвать эту стихию.

Лотман справедливо заметил, что на примере пушкинского «Онегина» Герцен раскрыл «политическую сущность «лишнего» человека²⁴. Но не только. Можно утверждать, что весь образ великого русского поэта был представлен Герценом исключительно политически, или, что точнее, идеологически. К тому же классик не остановился на анализе художественных произведений поэта. Если в последнем случае его субъективизм был объясним воспитанием и общественным положением, то пересказ Герценом биографических сведений из жизни поэта не выдерживает никакой критики.

Он пишет: «Николай вернул Пушкина из ссылки через несколько дней после того, как были повешены по его приказу герои 14 декабря.

Своею милостью он хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его» (3,448).

Ну, во-первых, не через несколько дней, а почти через два месяца, и не просто так, а по случаю своей коронации. А во вторых, все знали, что поэт на встрече с царем открыто выразил свои симпатии декабристам. И совсем уж надуманными и нелепыми выглядят следующие строки:

«Продолжая комедию, Николай произвел Пушкина в камер-юнкеры. Тот понял этот ход и не явился ко двору. Тогда ему предложили на выбор: ехать на Кавказ или надеть придворный мундир. Он уже был женат на женщине, которая позже стала причиной его гибели, и вторичная ссылка ему казалась теперь еще более тяжкою, чем первая; он выбрал двор. В этом недостатке гордости и сопротивления, в этой странной податливости узнаешь дурную сторону русского характера» (3,448)..

Надо ли говорить, что никакого выбора — «ехать на Кавказ или надеть придворный мундир» перед Пушкиным не стояло, что у поэта уже было две ссылки, что он, наконец, несколько раз предпринимал попытки покинуть двор и его дуэль, возможно, была последней в этом ряду. Все это, при желании, можно было узнать из распространяемых в обществе сборников, посвященных гибели поэта. Но Герцен предпочитал пользоваться слухами. Наполняя ими свои тексты, он создавал опасные прецеденты. Его утверждение, что «Пушкин был убит на дуэли одним из чужеземных наемных убийц, которые, подобно наемникам средневековья или швейцарцам наших дней, готовы предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма» (3,448), возможно, в политическом отношении и выигрышно, но до сих пор сеет в умах смуту и хаос.

А чего стоит его убеждение:

«История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр казни. Погибают даже те, которых пощадило правительство, — едва успевают расцвести, они спешат расстаться с жизнью.

Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли тридцати восьми лет. Грибоедов предательски убит в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе. Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет. Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет. Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой. Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе. Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки. Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги» (3,448-449)?

Надо ли говорить, что здесь, выражаясь пушкинским языком, «что слово, то несправедливость», не говоря уже о фактической стороне: Пушкин погиб в 37 лет; Лермонтов — в неполных 27 лет; Белинский прожил 37 лет; Полежаев умер в 1838 г. через пять лет солдатской службы на Кавказе; Баратынский не был в ссылке, а Бестужев пропал без вести в 1837 г. сорока лет от роду.

Но как это ни странно, оба академических учебника нашли необхо-

димым напомнить о существовании печального мартиролога, ни словом не обмолвившись о содержащихся в нем, мягко говоря, неточностях. Учебник 1863 г. даже пересказал его близко к тексту, делая упор на идеологической стороне документа. А в учебнике 1981 г. стихотворение Кюхельбекера «Участь русских поэтов» было признано предвосхищающим «известный мартиролог русской литературы, написанный впоследствии Герценом»²⁵.

Недостаток информации не мешали классику выстраивать свою ясную политическую линию. Когда логика не срабатывала, он прибегал к поэтической декларации: «Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее».

И это будущее, по мнению Герцена, уже имело реальные очертания: «Уже появился публицист, мужественно возвысивший свой голос, чтобы объединить боязливых... Вскоре он изумил читателей энциклопедическим разнообразием своих статей» (3, 461).

В роли изумляющего выступил Полевой — принципиальный противник Пушкина — чей труд об «Истории русского народа» поэт называл шарлатанской книгой, писанной «без смысла, без изысканий и безо всякой совести»²⁶. Энциклопедическое многообразие Полевого было поверхностным, идеи компилятивными, а его бурная журналистская деятельность стимулировалась самыми меркантильными интересами.

Впрочем, мнение поэта вряд ли заинтересовало бы Герцена, поскольку «От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения». (3, 467). Имелось в виду стихотворение «Герой» (1830), написанное в связи с поездкой Николая I в Москву во время холерной эпидемии, а также стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (август-сентябрь 1831 г.), посвященные польскому восстанию. Герцен никак не мог простить Пушкину, что он старался революционное столкновение перевести в плоскость семейного конфликта.

Однако, даже такой минорный финал работы «О развитии революционных идей в России», не помешал Герцену и дальше, в новых своих работах, нести все тот же виртуальный образ Пушкина. «После покорения Польши лет пять осаживались в России николаевские порядки в угрюмой тишине. ...только в стенах университета слышалось иногда живое слово и билось горячее сердце... да время от времени могучая песнь Пушкина, противуреча всему, что делалось, будто пророчила, что такая здоровая и широкая грудь многое вынесет» (8, 37) — писал он в статье «1831-63».

Можно согласиться, что в начале 50-х годов условия политической борьбы требовали известных упрощений. Но и спустя десятилетие в 1864 году в работе «Новая фаза русской литературы», вернувшись к излюбленной теме, Герцен почти слово в слово повторил мысли деся-

тилетней давности, лишь кое в чем изменив акценты. Так, Пушкин у него окончательно принял вид «исключительного» явления:

«Русская литература — как таковая — начинается только с XVIII века, то есть с реформы Петра I... Она зарождается в сатирах князя Кантемира, зреет в комедиях Фонвизина, чтобы завершиться горьким смехом Грибоедова, неумолимой иронией Гоголя и бесстрашным, безграничным отрицанием, провозглашенным новой школой.

Единственный великий поэт и великий художник, который своей звонкой, широкой песнью, своим изящным спокойствием мог бы составить исключение, — это Пушкин; но именно он нарисовал нам печальный и вполне национальный образ Онегина, лишнего человека» (8, 58).

И уж, конечно, Герцен не забывает о проступках поэта: «Даже слава Пушкина не спасла его от общего порицания, вызванного письмом, с которым он обратился к императору Николаю». Речь шла о письме Пушкина на имя Николая I от 11 мая — первой половины июня 1826 года. В этом письме, написанном в ссылке в селе Михайловском, Пушкин обещал «не противуречить моими мнениями общепринятому порядку»²⁷.

И все только затем, чтобы подвести читателя к своей сокровенной политической мысли, уже отточенной до простоты формулы:

«Брать Онегина за положительный тип умственной жизни двадцатых годов, за интеграл всех стремлений и деятельности проснувшегося слоя — совершенно ошибочно, хотя он и представляет одну из сторон тогдашней жизни. Тип того времени, один из великопнейших типов новой истории—это декабрист, а не Онегин...» (8, 58).

Герцен как будто забывает о Ленском, или намеренно не вспоминает о нем, поскольку этот самый внутренний «визави» Онегина уже порядком запутался и не кажется столь жизнеспособным, как в молодые годы.

Имя Пушкина продолжает присутствовать в поздних работах Герцена. Он охотно цитирует Онегина, которого запомнил с юности. Цитирует чаще всего неточно. При этом в творчестве поэта его интересуют все те же три темы, так или иначе связанные с его собственной судьбой.

Первая — это так называемые «революционные» стихи поэта. В статье «Западные книги» (1857 г.), говоря о Радищеве, Герцен замечает, «что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце» (7, 151). Сам же Пушкин, как известно, весьма скептически относился и к идеям Радищева — «невежественное презрение ко всему прошедшему; слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне; частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему»²⁸ — и к «Думам» Рылеева, которые «и целая, а все не впопад»²⁹.

Второй темой было отношение с властью. В статье «Очень опасно!» (1859 г.), Герцен пишет о силе общественного мнения, о том, что «сам

Пушкин испытал, что значит взять аккорд в похвалу Николаю». Однако, критикуя царизм за насаждение рабского духа среди студенчества, как, например, в статье «1860 г.», Герцен без всякого смущения опирается на авторитет Пушкина: «Как иначе Пушкин разумел царское достоинство, заставив Годунова сказать сыну, что слово государя, как благовест, должно только раздаваться, возвещая великое событие или великое несчастье». И тут же в очередной статье «Москва нам не сочувствует» (1962 г.), говоря о том, что «Николай чутьем ненавидел Москву и гнал ее университет», Герцен критикует поэта за то, что он «отгадал только вполонину, сказавши: «В Москве не царь» — в ней нет и земского дела!». Речь шла о пушкинском «Путешествии из Москвы в Петербург».

И, наконец, третья, и главная, тема — Онегин и Ленский — наиболее полно и ярко представлена в творчестве Герцена. Кажется, что она выделена им в особую отрасль, условно связанную с именем Пушкина и весьма успешно развивающуюся в самом безнадежном направлении, как, например, в статье «Новая фаза русской литературы»:

«Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского, другую жертву русской жизни, оборотную сторону Онегина... Между этими двумя типами, между самоотверженным энтузиастом, поэтом и человеком усталым, озлобленным, лишним, между могилой Ленского и скукой Онегина медленно текла глубокая и грязная река цивилизованной России... — увлекавшая и поглощавшая все, «сей омут, — как говорит Пушкин, — где мы с вами купаемся, дорогой читатель» (8,158). Опять же не лишне напомнить, что у Пушкина эта фраза звучит несколько в ином контексте, при сопоставлении простонародной и светской жизни: «В мертвящем упоенье света, В сем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья»³⁰.

При попытке объединить все три темы и определить общие черты пушкинского образа в творчестве Герцена невольно ощущаешь, что становишься участником гигантской мистификации. Отдельные характеристики поэта преподнесены так, что их невозможно соединить вместе, не прибегнув к вынужденной интерпретации. Как могло исключительное, «колоссальное» явление русской культуры, посредством которого образованная часть общества впервые обрела «дар поэтического слова» — явление, всегда находящееся «на уровне своего читателя» — обладать одновременно «узким патриотизмом» при «недостатке гордости и сопротивления»?!

Несовпадение взглядов Пушкина и Герцена очевидно. Оно выражается не столько в мелочах, в досадной перефразировке и упрощениях, сколько, говоря пушкинским языком, в различном понимании самого порядка и «общего хода вещей»³¹. Это трагическое несовпадение очень точно и цинично, в свойственной ему манере все выворачивать наизнанку, обозначил В.Г. Белинский, в адресованном Герцену письме:

«Ты не поэт: об этом смешно и толковать... У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, — и потому в своих

творениях, как поэты, они страшно, огромно умны; а как люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь)... У тебя, как у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, осердеченный гуманистическим направлением... Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размера, ты — большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина»³².

Герцен последовал наставлению Белинского и оставил нам «три-четыре томика поплотнее», которые вошли в историю нашей культуры. В его воспоминаниях много поэтических строк, тонких психологических замечаний, но много и такого, что делает нашу жизнь невозможной. У Пушкина встреча Ленского с Онегиным определена, как встреча «волны и камня, стихов и прозы, льда и пламени». Герцен решил уместить все это в одном человеке. Опыт его известен. Он трагичен и прекрасен, как еще одно свидетельство величия человеческой души.

Изучая этот опыт, можно отчетливо разглядеть родовые травмы нашего литературоведения, которые со временем обросли научной терминологией и стали почти незаметными. Это преднамеренная идеологизация, требование от художника радикальных взглядов, односторонность суждений и воинственный дилетантизм. Думается, настало время вернуться на пушкинский путь культурного развития, раз и навсегда решив, что «нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви»³³.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1955-1958. Т. 3. С. 244.

² Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 19.

³ Эйдельман Н. // ж. Знание-сила. № 12, 1987.

⁴ История русской литературы в 3 т. М.-Л., 1963. С. 19-20.

⁵ Там же. С. 275.

⁶ Там же. С. 345.

⁷ История русской литературы в 4 т. Л., 1981. С. 353.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С.19.

¹² Энгельгардт Б. Сб. «Пушкинист». II СПб., 1916. С. 1.

¹³ Томашевский Б.В. Пушкин. М., 1990. С. 54.

¹⁴ Там же.

¹⁵ Пропедевтический (гр.) — предварительный, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме Словарь иностранных слов. М., 1988. с. 404.

¹⁶ Томашевский Б.В. Пушкин. М., 1990. С. 54.

¹⁷ Там же. С. 64.

¹⁸ Там же. С. 65.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же.

- ²¹ По материалам Библ. указателя «Литература о жизни и творчестве А.С. Пушкина» К., 1999. С. 85.
- ²² Герцен А.И. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1955-1958. Т. 3. С. 164. Далее все цитаты из произведений Герцена, кроме «Былое и думы», приводятся по этому изданию с указанием в тексте номера тома (арабской цифрой) и страницы (арабской).
- ²³ Герцен А.И. Былое и думы. В 3 т. М., 1983. Далее все цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте номера тома (римской цифрой) и страницы (арабской).
- ²⁴ Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 456.
- ²⁵ История русской литературы в 4 т. Л., 1981. С. 170.
- ²⁶ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 т. Л., 1978. Т.7 С. 413.
- ²⁷ Там же. Т.10. С.162.
- ²⁸ Там же. Т. 7. С. 244.
- ²⁹ Там же. Т. 10. С. 112.
- ³⁰ Там же. Т. 5. С.120.
- ³¹ Там же. Т. 7. С. 100.
- ³² Белинский В.Г. Собр. соч. в 3 т. М., 1948. Т. 3. С.498.
- ³³ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10 т. Л., 1978. Т.7 С. 245.